



## **Б. А. ФИЛИППОВ**

### **Глухие времени стенанья**

(О Тютчеве)

Нелегко говорить о писателе. И особенно поэте. Говорить о его мировоззрении? Но уже общим местом стало утверждение, что о «мировоззрении» того или иного художника слова можно высказывать суждения прямо противоположные: поэзия — не система силлогизмов... Говорить только о форме творчества перестали и сами формалисты<sup>1</sup>: ничего не вышло: во-первых, форму и содержание в художественном произведении друг от друга не отдерешь, а во-вторых, и то и другое слишком определяются не только их творцом-автором, но и, так сказать, потребителем-читателем. Всякий творец имеет перед собой — сознательно или бессознательно — образ своего реального или умопостигаемого читателя, и этот образ в особенности отражается именно на форме произведения: «веянии» и «идеи» эпохи, мода, наконец... Может быть, наиболее свободен был от этих воздействий именно Тютчев, но и он, «ронявший» стихи, по воспоминаниям своего первого биографа, Ивана Аксакова, не мог быть всецело свободен от общественной среды, его окружающей, от хотя бы «читателя в поколениях», от социальных переживаний и философских волнений своей эпохи.

Да и что читателю произведений высокого дарования, тем паче — гения, до поэтической кухни этого последнего? Мусоргский говаривал, что разговоры о «кухне» творческого процесса отбивают у него, Мусоргского, охоту ознакомиться с самим разбираемым «формально» произведением: если, мол, ему расскажут и покажут, как сделан аппетитный пирог, то он, побывавши на кухне, пирога того отведать не захочет...

В особенности тускло было бы говорить о чисто формальных особенностях такого поэта глубинной мысли, каким был наш Тютчев. Великий и смелый реформатор стиха, испугавший своими вольными размерами Тургенева и прочих? Верно. Недаром

все, кому не лень, «причесывали» корявые, с их точки зрения, строчки Тютчева под привычные метры: причесывал и Тургенев, и Сушков<sup>2</sup>, литератор уж совсем безызвестный. Но разве в этом — испугавшем современников — своеволии — великое обаяние Тютчева? «Жить значило для него мыслить», — писал о Тютчеве И. С. Аксаков. Весьма высоко расценивал Тютчева как собеседника встречавшийся с ним — это мы знаем из письма П. В. Киреевского<sup>3</sup> — Шеллинг. «Лучшим из своих мюнхенских друзей» называет Тютчева в одном из своих писем умный и блестящий Гейне<sup>4</sup>. Никто из них, конечно, не знал Тютчева-поэта. Но было, очевидно, что-то, сразу отличавшее светского шармера и острослова-дипломата от не менее блестящих представителей высокого света того времени, света, поражающего нас теперь столь высоким уровнем культуры, что любые мемуары рядового барича той эпохи мы охотно предпочитаем новоявленным гениям нашей обескровленной сегодняшней литературы. Было что-то, что заставляло поразиться, отметить, запомнить Тютчева: и это — людей, не знавших ни языка стихов, ни самих стихов поэта...

Думаем, что сама манера импровизации, самозарождение и «роняние» стихов Тютчевым, — многое объясняют. И. С. Аксаков, женатый на одной из дочерей поэта, вполне «свой человек» в доме Тютчева, свидетельствует, что стихи Тютчева как бы произвольно самоизливались, рождались у него как-то внезапно и записывались на случайные клочки бумаги, часто терявшиеся поэтом. И лишь очень поздно жена и подросшие дочери Тютчева «стали тщательно наблюдать за ним и подбирать лоскутки с его стихами», а иногда и записывать стихи прямо под его диктовку. Так, однажды, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: «Я сочинил несколько рифм», — и, пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотворение:

Слезы людские, о слезы людские,  
 Льетесь вы ранней и поздней порой...  
 Льетесь безвестные, льетесь незримые,  
 Неистоимые, неисчислимые,  
 Льетесь, как льются струи дождевые  
 В осень глухую, порою ночной.

Так рождался образ. Так рождались стихи, всегда у Тютчева полифонические, многоплановые, многосмысловые. Но, хотя, конечно, Аксаков и преувеличивал момент произвольной и непроизвольной импровизации в тютчевском творчестве и пре-

уменьшал элемент сознательной и планомерной работы, вот этот-то элемент стихийного импровизаторства и освещал, и пронизывал беседу поэта. Немалая «тютчевiana» составлялась современниками, несомненно, однобоко: записывались запомнившиеся политические, злободневные остроты и меткие характеристики, — но не этим же мог пленить поэт Шеллинга и Гейне?!

Формальное влияние философии Шеллинга на натурфилософские взгляды поэта — несомненно. По «Философским разысканиям о сущности человеческой свободы» Шеллинга (1809) — мир создан Богом отнюдь не из ничего, а как бы организован и преображен из бездны, темной и хаотической, подсознательной и бессознательной основы самого Божества, темной воли, стремящейся к самообнаружению и самопросветлению. Творчество это для Бога, таким образом, почти принудительно: к нему толкает Бога сама природа воли к преображению, к творческому самоизлиянию. Мировая воля приводит стихийные космические силы к единству, преодолевая — неизбежно — индивидуальные воли и подавляя их. В том числе преодолевая и индивидуальные воли, — воления отдельных людей. Во имя мировой свободы — единства подавляются воли индивидуальные, противоречивые и часто противоположные. И весь мир, и малый мир человеческой души — единство противоположностей: хаос и стремление-воля к единству, свобода, индивидуальная и свобода целого, произвол и организация. У Тютчева почти дословно:

На мир таинственный духов,  
Над этой бездной безымянной,  
Покров наброшен златотканый  
Высокой волею богов.  
День — сей блистательный покров —  
День, земнородных оживленье,  
Души болящей исцеленье,  
Друг человеков и богов!  
Но меркнет день — настала ночь;  
Пришла — и с мира рокового  
Ткань благодатную покрова,  
Сорвав, отбрасывает прочь...  
И бездна нам обнажена  
С своими страхами и мглами,  
И нет преград меж ей и нами —  
Вот отчего нам ночь страшна!

Не только Шеллинг мог повлиять на Тютчева. Одновременно, в те же мюнхенские годы Тютчева, в мюнхенском университете преподавали натурфилософы Окен и Генрих Шуберт, автор

«Ночной стороны естествознания». В нашем распоряжении нет ничего, кроме догадок, — был ли знаком с Океном и Шубертом Тютчев или не был<sup>5</sup>. Но само время было овеяно идеями предбурья, само время вопило о единствах-волях — монадах — и Верховной Воле-Монаде, — но уже не видело «предустановленной гармонии» во взаимоотношениях хаоса этих монад... Наоборот. Несколько позднее социалисты-французы, а за ними Маркс подменяют Монаду-Первопричину производительными силами, и Маркс будет говорить о «товарном фетишизме» как знамени времени: за производимыми человеком вещами утратился — в сознании людей — сам человек: общественные отношения людей подменились в их сознании вещными отношениями товаров. И уже у Э. Т. А. Гофмана, многие произведения носят названия не лиц, не героев, но вещей: «Эликсир дьявола», «Золотой горшок» и т. д.; то же у нашего Гоголя: «Коляска», «Шинель», «Портрет», «Невский проспект»... За вещами не видится больше распоряжающийся ими человек: хаос вещей убил душу живую, убил свободу, волю. Так — для поверхностного взгляда. Но не так для взгляда более углубленного, тем более глубинного. И Гофман, и Гоголь, и Тютчев переносят мир вещей и отношений, первозданный хаос плоти в саму душу, в душевно-плотную предоснову ее: умер не только сам подвиг веры, умерло в духе человеческом и само стремление к вере, и, тем самым, гибнет сама субстанция духа, ибо дух разлагается в эмпирических и практических дробностях, теряет саму основу свою — стремление к божественному единству и полноте, и тонет в первозданном хаосе вечности:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,  
И человек отчаянно тоскует...  
Он к свету рвется из ночной тени  
И, свет обретши, ропщет и бунтует.  
Безверием палим и иссушен,  
Невыносимое он днесь выносит...  
И создает свою погибель он  
И жаждет веры... но о ней не просит...

Особенно рассеян мелочными практическими, бытовыми дробностями человек дневного сознания, — ведь день, с его суетою и хлебнонасушными дрязгами, не оставляет человека один на один с его собственным мироединством, с его собственной душой. И только ночью, когда «и бездна нам обнажена», и «нет преград меж ей и нами», — мы постигаем субстанциальные основы себя и мира, мы — наедине с собой и природой как целым. Но есть ли единство и направленность в этом «целом»?

или только хаос, изначальный и временно скованный, нет, даже прикровенный златотканым покровом «высокой волею богов»? Уже молодой Тютчев, в конце 20-х гг., видит эту бытийственную основу, эту звенящую и сожигающую бездну:

Как океан объемлет шар земной,  
 Земная жизнь крутом объята снами:  
 Настанет ночь — и звучными волнами  
 Стихия бьет о берег свой.  
 То глас ее: он нудит нас и просит...  
 Уж в пристани волшебный ожил челн;  
 Прилив растет и быстро нас уносит  
 В неизмеримость темных волн.  
 Небесный свод, горящий славой звездной,  
 Таинственно глядит из глубины, —  
 И мы плывем, пылающею бездной  
 Со всех сторон окружены.

И позже:

О, страшных песен сих не пой  
 Про древний хаос, про родимый!  
 Как жадно мир души ночной  
 Внимает повести любимой!  
 Из смертной рвется он груди,  
 Он с беспредельным жаждет слиться...  
 О, бурь заснувших не буди —  
 Под ними хаос шевелится!

Мир, организованный Богом из хаоса, непреодолимо стремится вернуться в то же первозданное состояние хаоса. Круг должен замкнуться:

Когда пробьет последний час природы,  
 Состав частей разрушится земных:  
 Все зримое опять покроют воды,  
 И Божий лик изобразится в них.

Потому так и тяжело нам время, предобреченный к гибели и конечному поглощению хаосом, бездной бег событий: «часов однообразный бой, томительная ночи повесть»:

Кто без тоски внимал из нас  
 Среди всемирного молчанья,  
 Глухие времена стенанья,  
 Пророчески-прощальный глас?  
 Нам мнится: мир осиротелый  
 Неотразимый рок настиг,  
 И мы, в борьбе с природой целой,  
 Покинуты на нас самих.

Да, «покинуты на нас самих», ибо Бог, сотворивший нас свободными, не может вмешаться в наши человеческие дела и не должен вмешиваться, ибо такое вмешательство было бы посягновением на свободу твари — ее высочайшее благо. Но и мы не должны торопить ход событий, не должны понукать и подстегивать Мировую Волю. Отсюда — резко отрицательное, принципиально отрицательное отношение Тютчева к революции и социализму, приближающим распад космоса в социальном плане. Ведь златотканый покров, брошенный на бездну, на хаос — тонок и эфемерен, и прорвать его неловким толчком ничего не стоит. Если бы нужно было, по примеру первой четверти нашего века, прикреплять ярлычок очередного «изма» к Тютчеву, его нужно было бы окрестить именем поэта-эпифеноменалиста: весь наш мир вещей и явлений, социальных отношений и красоты — только незначительные, маломощные болотные огоньки на предмирной трясине первозданного хаоса. Только эпифеномены. Не касайтесь эфемерного покрова: «под ним ведь хаос шевелится!»

Все было тихо и благоустроено в Европе бидермайера, венских вальсов Лайнера и Штрауса-отца, уютных конференций и рейнских дач Ауэрбаха. Но лучшие умы эпохи уже слышали отгул близящегося катаклизма. Они видели, что «жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет, но не может». Они видели, что могучие столпы обычной социальной иерархии, как и столпы причинной зависимости, эта вертикальная иерархия рядов колонн, подпирающих прежнее устойчивое мировоззрение-мироздание, — эти столпы подмыты волнами изначального хаоса — и уже рушатся. Над классическим принципом научного, социального и философского мировоззрения — причинностью — иронизирует Тютчев:

С горы скатившись, камень лег в долине.  
 Как он упал, никто не знает ныне:  
 Сорвался ль он с вершины сам собой,  
 Или низвергнут мыслящей рукой?  
 Столетье за столетьем пронеслося:  
 Никто еще не разрешил вопроса...

Но крушение устойчивого мировосприятия — крушение последних — вера уже почти мертва — устоев мира. Вещь все на вере: и сама наука, богоборствующая и надменная, тоже на слепой вере, на слепых постулатах построена. Теперь сама субстанция веры умирает:

Еще она не перешла порогу,  
 Но дом ее уж пуст и гол стоит, —

Еще она не перешла порогу,  
 Еще за ней не затворилась дверь...  
 Но час настал, пробил... Молитесь Богу,  
 В последний раз вы молитесь теперь.

В письмах 1854—1855 гг. Тютчев пишет жене о глубочайшем и последнем кризисе европейской культуры, о стоящей у дверей коммунистической «интернациональной» революции, о грядущей гибели всего мира. Иной раз он пытается обмануть себя, пытается славянофильскими формулами заклясть, отчурать, отсрочить эту гибель. При этом — в письмах его к жене — интересно переплетаются достаточно жуткие прозрения с розоватыми панславистскими мечтаниями. Так, в 1854 г. он пишет: «Будут перемирия, роздыхи, приостановки в том хаосе, в который мы теперь вступаем и в который будем забираться все глубже. Но мир получится только с Европою вполне преобразованной»... А в 1855 г. Тютчев уже провидит то время, когда «долгая борьба Востока и Запада, наконец, прекратилась,... возник мир новый, будущность народов определилась на многие веки, Суд Божий совершился, Великая Империя (всеевропейская, с центром в Москве, как указывает дальше Тютчев. — *Б. Ф.*) основана, и новые поколения с понятиями, убеждениями совершенно иными — вступили в обладание миром»... Если это пророчество начнет оправдываться сейчас, мир пожалуй, действительно окончательно кончится... Отбросьте почвенническую мечту о народе-богоносце, и прогнозы Тютчева окажутся необычайно близкими к провидениям Константина Леонтьева: «Русское общество, — и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и — кто знает? — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой Веры, — и мы, неожиданно, из наших государственных недр, сперва бессловных, а потом бесцерковных... — родим Антихриста»...<sup>6</sup> «Мы поставлены в такое центральное положение именно только для того, чтобы, окончательно смешав всех и вся, написать последнее «мене-текел-фарес» на здании всемирного государства для того, чтобы погубить человечество в развитии всемирного равенства»...

Мы — «застигнутые ночью Рима»<sup>7</sup> и мира, но мы — счастливы:

Счастлив, кто посетил сей мир  
 В его минуты роковые —  
 Его призвали всеблагие,  
 Как собеседника на пир.

Мы — свидетели распада мира, но мы — участники божественной игры первозданных сил. Но да будет проклят тот, кто дерзновенной рукой прикоснется к «золотому покрову», брошенному на бездну! А в человеке искони живет стремление сорвать, обнажить, освободить стихийные силы, призвать на небожителей поддонные силы усмиренных титанов. Созидание и разрушение, смерть и жизнь, Бог и бездна одинаково сильны в нашей душе:

Две беспредельности были во мне,  
И мной своевольно играли оне...  
...По высям творенья, как Бог, я шагал,  
И мир подо мной недвижим сиял.  
Но все грезы насквозь, как волшебника вой,  
Мне слышался грохот пучины морской,  
И в тихую область видений и снов  
Врывалась пена ревущих валов.

Пейзажная и любовная лирика Тютчева — вся насквозь пронизана этой нотой безнадежности. Чаще — и удачнее всего — осень. Прозрачная, хрустальная, хрупкая: «Та кроткая улыбка увяданья, что в существе разумом мы зовем божественной стыдливостью страданья»:

Теперь уж пусто все — простор везде,  
Лишь паутины тонкий волос  
Блестит на праздной борозде.

Если не осень, то вечер, ночь, сумерки, когда «тени сизые смешались, цвет поблекнул, звук уснул»:

Час тоски невыразимой!..  
Все во мне и я во всем...

А в любовной лирике — тот же осенний мотив: «ущерб, изнеможенье», «блаженство и безнадежность «последней любви», «на склоне наших лет», когда «нежней мы любим и суверенней»:

Сияй, сияй, прощальный свет  
Любви последней, зари вечерней!  
Полнеба обхватила тень,  
Лишь там на западе бродит сиянье, —  
Помедли, помедли, вечерний день,  
Продлись, продлись очарованье!

Нет, любовная лирика осеннего Тютчева не только биографически обусловлена его «отреченной» любовью к Е. А. Дени-

сьевой: она, эта безнадежная последняя любовь, — неизбежный и необходимый элемент всей поэтической концепции поэта. «Если бы Денисьевой не было, ее надо было бы выдумать».

Но и всякое творчество — не только любовь, — всякая поэзия, музыка, живопись — разве это не порождение осознанной ущербности, неполноты мира, по крайней мере, в его восприятии нашим сознанием? Ведь если бы пережили мы видение всецелой полноты — мы не нуждались бы и в восполняющем нашу углую жизнь искусстве. Мечта искусства, искусства старого, гармонического, — тоже на ущербе:

И распростись с тревогою житейской,  
 И кипарисной рощей заслонясь, —  
 Блаженной тенью, тенью елисейской,  
 Она заснула в добрый час...  
 ...Вдруг все смутилось: судорожный трепет  
 По ветвям кипарисным пробежал, —  
 Фонтан замолк — и некий чудный лепет,  
 Как бы сквозь сон, невнятно прошептал.  
 Что это, друг? Иль злая жизнь недаром,  
 Та жизнь, — увы! — что в нас тогда текла,  
 Та злая жизнь, с ее мятежным жаром,  
 Через порог заветный перешла?

Лирика после Тютчева, роман и повесть после Достоевского — уже не могут быть теми, какими они были раньше. Что-то надломилось в душе. Гармонические бряцания на лире стали, увы, невозможными. Упражнения на заданную тему в стихах и прозе, какими бы джойсами они ни прикрывались, каких бы валери они ни привлекали в качестве образчиков, — вызывают у читателя только судорожную зевоту. Чувство обреченности мира, запах апокалиптических пожарищ давно уже мешает холодному восприятию красот византийского розариума. Жизнь, как бы ни отмахивались от этого наши доморощенные и чужбиннорощенные эстетика, — жизнь «с ее мятежным жаром, через порог заветный перешла».

Тщетно сам Тютчев хотел отгородиться от последнего катаклизма «этими бедными селеньями», которые исходил-де, благословляя, сам Христос: исходил их Спаситель наш не для цветения весей и градов в радости и славе, а для того, чтобы приуготовить их к великим искупительным жертвам, великим мукам и крови. И стихи благополучно славянофильствующего Тютчева настолько слабее его лирики «глухого времени стена-нья», что весь и интерес-то их — чисто биографический: боролся поэт с «демонами глухонемыми», стремился одолеть их — но не смог...

Конечно, Тютчев, как и всякий великий поэт и писатель, каждой эпохой воспринимается по-своему. Есть Тютчев его современников, рассматривавших его как замечательного остроумца, умника, но поэта размеров Туманского и Вонярярского: так примерно писал про Тютчева Гоголь<sup>8</sup>. Есть Тютчев, высоко оцениваемый поколением Гончарова—Некрасова, но характериземый ими, людьми 40—50-х гг., в качестве «даровитого дилетанта» (в наше время это нелепое суждение повторит о Тютчеве покойный Тынянов)<sup>9</sup>. Но есть Тютчев, и наш, Тютчев-провидец, Тютчев-завершитель и начинатель, наряду с Достоевским открывший новую эру искусства — искусства эпохи великого крушения мира. И среди мелкоплавающих и плоскодонных словесных упражнений последних двух-трех десятилетий все более и более грозным предупреждением высятся гигантские одинокие утесы русского девятнадцатого века. Среди них — Тютчев. «Тютчев может сказать о себе, что он создал речи, которым не суждено умереть», говорил о нем Тургенев сто лет тому назад. «Без Тютчева нельзя жить»<sup>10</sup>, — говорил о своем любимом поэте Лев Толстой.

Указать болезнь, определить ее — положить начало выздоровлению. Почувствовать катаклизм, обнажить бездну, первому грудью встретить рвущиеся из-под спуда стихийные силы — пасть в неравной борьбе с ними — великая, незабываемая заслуга, великий подвиг. Силы человеческие ограничены. Гений тоже не способен к чуду. Но предельное, что он сделать может, он сделать обязан. И Тютчев сделал предельное, возможное для художнического гения. Им вправе гордиться наша литература. Им обязан гордиться наш народ:

Вот наш патент на благородство:  
Его дарует нам поэт...

1953

